текст «Наставлений Джебцзун Дамба хутугты» в ойратской графике и в переложении на кириллицу, который хранится в семье Н. (К.) Утиевой из поселка Шин-Мер Кетченеровского района [4].

Несмотря на кажущуюся отдаленность подобных сборников от всего корпуса буддийской литературы, данные текстологического и содержательного анализа свидетельствуют об их статусе сочинений на буддийскую тематику. Описание этой страницы истории письменной традиции калмыков, как и других монгольских народов, внесет заметный вклад в освещение литературного процесса XX в.

Литература

1. Бакаева Э.П. Легенда об Уурхан санг бурхане: к проблеме этнической специфики калмыцкого буддизма // Буддийская традиция в Калмыкии в XX веке: памяти О.М. Дорджиева (Тугмюд-гавджи). 1887–1980. Элиста, 2008.
2. Музраева Д.Н. К проблеме идентификации безымянной рукописи на кириллице из коллекции Бага-Чоносовского хурула // Научная мысль Кавказа. 2008. №4. Ч. 2 (57). С. 14–18.
3. Номинханов Ц.-Д. Материалы к изучению истории калмыцкого языка. М., 1975.
4. Полевые материалы автора (2006 г.).
5. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями. М., 1985. Вып. V.
6. Рукописный молитвенник на кириллице из личной коллекции Тугмюд-гавджи, хранящейся у родственников. 1 общ. тетр. Л. 5б:10.
7. Рукопись на кириллице из Коллекции Бага-Чоносовского хурула, 24–9 (5). Л. 1а:1–16б.
8. Әәлдхл. Предсказание / науч. обр. и подготовка к изд. канд. ист. наук В.П. Дарбаковой. Элиста, 1995.
9. Джинджӱ маһу чӱндӱһäр. Рукописный молитвенник на кириллице из личной коллекции Тугмюд-гавджи, хранящейся у родственников. 1 общ. тетр., 45 л.; 1 тетр., 6 л.; 1 тетр., 7 л.; 3 рукоп., 6+6+11 л.
10. Ик дүүцң мацгин мөргүлин ном (Калмыцкие молитвы) / сост. Дандырова Н.М. Элиста, 1999.
11. Манин эклц. Тексты 1–94. Машинописный текст из личной коллекции Э.П. Бакаевой.
12. Питр хотл балгсн. 1916 ж. Амулнг Нирваниг олад. Рукописный молитвенник на кириллице из личной коллекции Тугмюд-гавджи, хранящейся у родственников. 1 зап. кн., 31 л., 14х10 см.
13. Bla ma lha'i rnal 'byor sogs rgyun 'khyer nyams bzhed zhal 'don mdor bsdus khag skad gnyis shan sbyar bzhugs so («Тексты для ежедневных практик») / сост. Т. Гонпо, Т. Чойзин; ред. Д. Моренков, А. Нариньяни. М., 2004. С. 27–28.

Prayer books (early monuments of Kalmyk Cyrillic writing) as a source of Buddhist literature and Kalmyk writing culture study

There is revealed the meaning of monuments of Buddhist literature, fixed in the Cyrillic alphabet, as the important component of the writing and literature tradition of the Mongolian.

Key words: *Buddhism, manuscripts, literature, canon, Tibetan, Oyrat works.*

Н.П. КРОХИНА
(Шуя)

О СОФИЙНОМ МИРООЩУЩЕНИИ В РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО*

Рассматриваются христианский космизм и апокалиптическое христианство Ф.М. Достоевского, актуальные для художественного и философского сознания Серебряного века, софийное мироощущение, противостоящее катастрофической реальности.

Ключевые слова: *софийная основа мира, софийное мироощущение, христианский космизм, апокалиптическое христианство.*

Метафизическая глубина творчества Ф.М. Достоевского была раскрыта русской философской критикой Серебряного века, поколением рубежа XIX–XX вв., чьим духовным учителем был писатель. «Он был человеком нашей катастрофической эпохи, – писал К. Мочульский. – Но богооставленность не последнее слово творчества Достоевского; он изображал “темную ночь”, но предчувствовал рассвет. Он верил, что трагедия истории завершится преображением мира» [9, с. 549] – новым богооткровением. Блудный сын возвратится в отчий дом.

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (2009 – 2013 гг.).

© Крохина Н.П., 2011

Романы Достоевского строятся на контрасте мрака и света, смерти и воскресения. Он изображает хаос, бесформенность там, где другие писатели находили быт, уклад, устойчивые формы: кризис семьи, раздор между отцами и детьми, трагедию любви («кольцо ее размыкается третьим», порождая «троичность в человеческих взаимоотношениях» [9, с. 320], кризис эстетического сознания. Божественному собиранию воедино противостоит современный обособленный человек, демоническая духовность и насильственное скрепление распыленных атомов деспотической властью. Человеческая душа предстает раздвоенной, антиномически расколотой. Однако мраку противостоит свет. Диалектика творчества Достоевского восходит к дантовской триаде: «ад–чистилище–рай», о чем писал К. Мочульский: «Бесы» кончаются всеобщей гибелью, «Подросток» завершается верой новую жизнь, новый идеал красоты. После ада («Бесы») и чистилища («Подросток») писатель задумывает поэму о рае («Братья Карамазовы»). Эта светоносность его творчества связана с тем, что, по мысли К. Мочульского, «Достоевский имел подлинный софийный опыт» (Там же, с. 480, 453), который запечатлен в его произведениях:

«Достоевский и его герои в экстазе видели божественную основу мира, Софию» (Там же, с. 405). Его герои (князь Мышкин, Кириллов, Марья Лебядкина, Макар Долгорукий, Зосима, Алеша Карамазов) переживают мгновения «мировой гармонии», испытывая космический восторг перед первозданной красотой мира. «Неужели можно быть несчастным?... Сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных… Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят», – говорит в экстазе князь Мышкин на вечере у Епанчиных [5, с. 459]. Чистому сердцу открыто восторженное чувство божественности мира. «Все есть тайна, друг, во всем тайна Божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключается. Птичка ли малая поет, али звезды всем сонмом на небе блещут в ночи – все одна эта тайна, одинаковая», – рассказывает Подростку странник Макар Долгорукий [6, с. 287], вспоминающий о своем паломничестве в Богородский монастырь: «Проснулся я заутра рано.., обвел кругом взор и вздохнул: красота везде неизреченная… Травка растет – расти, травка Божия; птичка поет – пой, птичка Божия, ребеночек у женщины на руках пискнул.., расти на счастье, младенчик… Хорошо на свете, милый» (Там же, с. 290). Ибо является женственная красота, разлитая в мире. Художественное постижение сокровенной женственности бытия, «ощущение женственного в мире, как вселенской живой сущности, как Души Мира» находил в творчестве Достоевского Вяч. Иванов [7, с. 304].

В эти «минуты вечной гармонии», по слову Кириллова [3, с. 450], герою Достоевского открывается тайна Матери-Земли. О ней радостный плач Марьи Лебядкиной: «А как наполнишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься» (Там же, с. 116). К ней обращены слезы умиления Алеши Карамазова и восторженные слова старца Зосимы: «Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби…» [4, т. 14, с. 292]. Этот христианский материализм, мистический культ земли и жизни лежит в основе учения Достоевского о почвенности и народности. Мистическое единство мира и осиянность его Святым Духом, божественной красотой открывается народным праведникам писателя, положительно прекрасному человеку, которого художник противопоставляет своим раздвоенным героям, оторванным от Матери-Земли. Восторженный герой Достоевского в своей чистоте и детскости – существо другого эона, до грехопадения. Он наделен памятью первозданного рая и устремлен к преображению мира (таково существо и лирического героя поэзии А. Блока – «дитя добра и света»). Народные праведники Достоевского, созданные вне строгой церковно-монашеской традиции, славословят Бога в творении, благоговейно чтут софийную основу мира. Их безгрешные души выражаются в светлом, радостном смехе. «Веселое сердце» свойственно всем праведникам писателя. Восторженный герой Достоевского, его народный праведник (прежде всего Зосима), по мысли К. Мочульского, – «провозвестник нового духовного сознания русского народа» [9, с. 541] с его восторженным чувством божественности и спасительной красоты мира, космической любви. О «православном светлом космизме», рождающем «художественно-экстатическое отношение к миру», писал А. Панарин в монографии «Православная цивилизация в глобальном мире» [10, с. 121]. В темный и падший мир приходит человек «не от мира сего», бескорыстный, смиренный, сострадательный и целомудренный. Все самоутверждаются, он самоумаляется. Смешной и

беспомощный в делах житейских, в плане метафизическом это мудрец и проповедник, который видит подлинную реальность. Русская идея, по Достоевскому, софийна, и есть «всепримирение идей» [6, с. 375]. Ее облекают в плоть праведники Достоевского, которым открывается мистическое единство мира. Христианская любовь становится космической любовью.

Если попытаться определить философию романа Достоевского, о ней можно сказать словами Вяч. Иванова о «Фаусте» Гёте: здесь нет «проповеди крайнего пессимизма». Автор пессимистом не был, потому что имел в своем духовном опыте «касание мирам иным» [7, с. 267–268]. У Гёте над всем веет дух гармонии. В антиномическом мире Достоевского гармонии нет, но есть «высочайшие минуты» полноты и гармонии [5, с. 188]. Мрак и хаос этого мира, бестолковость и безысходность положения героя (Евгений Павлович недоумевает: «И как это любить двух? Двумя разными любвями какими-нибудь... бедный идиот!» (Там же, с. 485)) преодолевают мгновения внутреннего просветления: «В эпилептическом состоянии его была одна степень почти перед самым припадком… когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния» (Там же, с. 188). Герой Достоевского способен переживать эти мгновения удесятеренной жизни, высшей полноты и высшего счастья. «Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины» . Болезнь, припадок, душевный мрак – это расплата за «эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и высшего бытия». Герой Достоевского и живет ради этой минуты, даже секунды ощущения, которая в припоминании оказывается «в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни». Герой Достоевского пытается описать неописуемое, выразить высшие, апофатически непостижимые мгновения своей жизни. Однако самое главное, что ему доступны эти высшие мгновения, когда он, превосходя себя, житейски нелепого и смешного, обретает то, чего лишен в своей обычной жизни: гармонию, единение с миром: «За этот момент можно отдать всю жизнь!»... Эта секунда, по беспредельному счастью, им вполне ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни» (Там же, с. 188–189). В переживании этих высших мгновений, стоящих всей жизни, герой Достоевского относится к эпохе романтизма и, превышая ее, принадлежит к натурам профетическим: подобные секунды переживал «эпилептик Магомет» (Там же, с. 189).

«С Достоевским, – писал Н.А. Бердяев, – нарождается в мире новая душа, новое мироощущение». С его творчеством связан новый тип сознания, «это сознание уже не только традиционно-христианское, не святоотеческое и не гуманистическое» [1, с. 13,42]. Он не только возвращается к вечной христианской истине о человеке после гуманистического отпадения от нее. «Человек вступил в иной, более зрелый духовный возраст», бесконечно усложнилась его душа, и обострилось его сознание. С творчеством Достоевского связан «переход христианства из периода исключительно трансцендентного его понимания в период более имманентного его понимания». Не внешняя кара ожидает человека, а «изнутри, имманентно раскрывающееся Божественное начало поражает человеческую совесть» (Там же, с. 43, 53–54). Его вера – «апокалиптическое христианство», раскрывающее суть христианства «как религии свободы и любви», обращенное «к мистической земле и к новому приятию природы». Так заканчивается путь блужданий человека, который возвращается к преображенной земле, «воссоединяется с великим космическим целым» (Там же, с. 154–156). Герой писателя проходит трагический путь раздвоения, своеволия и бунта, обретая радость воскресения. Достоевского можно с равным правом назвать великим выразителем христианского космизма и экзистенциально-пережитого христианства.

По мысли В.Н. Топорова, Достоевский – «самый софийный из русских писателей», а «Братья Карамазовы» – «самое софийное его произведение» [11, с. 83]. Попытаемся обосновать данное утверждение.

Софийная тема, развернутая в 6-й книге романа («Русский инок») и 7-й книге («Алеша»), звучит в полном контрасте с первыми книгами, изображающими сплошной надрыв в человеческих отношениях, бунт Ивана Карамазова. Гордая Катерина Ивановна любит Дмитрия «оскорбляющим» ее [4, т. 14, с. 175], «неистовая» Грушенька любила Митю «часочек» и «мучила… жестоко и беспощадно» (Там же, с. 329). В «исповеди горячего сердца» Дмитрий говорит о ка-

рамазовской широте современного человека, который «начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским» или «еще страшнее… с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны», ибо «для огромного большинства людей» красота – «в содоме» [4, т. 14, с. 100]. Главным идеологом и практиком этой содомской любви и красоты в романе является отец Карамазов.

В полном контрасте с этим карамазовском содомом и бунтом Ивана Карамазова (олицетворением которого становится образ Великого Инквизитора) звучат слова старца Зосимы, делящегося «радостью и восторгом своим со всеми» (Там же, с. 148), о «любви бесконечной, вселенской», ибо «каждый виновен за всех и за вся на земле» (Там же, с. 149). В этой «всемирной любви» есть кенотическое смирение и евангельский космизм, сочетающий великое и малое, божественное и человеческое: «Любите все создание Божие, и целое и каждую песчинку… Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах» (Там же, с. 289). Здесь открывается тайна утраченной современным человеком «духовной радости» («Будьте веселы как дети») и возрождается благая весть о единстве божественного и человеческого, трансцендентного и имманентного. Человеку даровано «тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим». Все живет и «живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным» (Там же, с. 290). Если ослабевает это сакральное ощущение жизни (в полноте своей открытое райской первозданности, ребенку и восторженным героям писателя), человек духовно умирает, он обречен на равнодушие и ненависть. Мудрость Зосимы – истина христианского космизма: «Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби» (Там же, с. 292). Тайна мироприятия открывается и Алеше Карамазову в высшую «минуту восторга» и просветления: «Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною» (Там же, с. 328). Эта софийная минута видения преображенного мира как «единой вселенской церкви», повергающая на землю, заставляющая «любить ее, любить во веки веков» (Там же), духовно укрепляет человека на всю жизнь. Бунту, обреченности Ивана противостоит в романе просветление Алеши.

Вслед за этой идеологической кульминацией романа следует 8-я книга («Митя») – жизненная кульминация произведения, которой у Достоевского может быть лишь катастрофа, катастрофизм переживаний и событий: Митя в Мокром. Напряженная череда этих переживаний предстает как реальная связь между миром дольним и горним, о которой учил Зосима и которая на минуту открылась Алеше. Вместо прежнего хаоса, гибельного смешения «идеала Мадонны» с «идеалом содомским», когда «от иного восторга можно убить себя» (Там же, т. 14, с. 106), Митя в восторге и благоговении любви к своей «царице» (Там же, с. 376) чает, как истинно русский человек, «новой жизни»: «Он жаждал этого воскресения и обновления. Гнусный омут… тяготил его, и он, как и очень многие в таких случаях, всего более верил в перемену места… и – все возродится, пойдет по-новому!» (Там же, с. 330). Достоевский сочетает дионисийский экстаз с христианской апокалиптикой. Разумеется, это обновление связано с приятием муки обвинения в отцеубийстве («в глубине сердца своего виновен», ибо «хотел убить его» (Там же, с. 415), «всенародного позора» и очищением через страдание (Там же, с. 458).

В традиционном критическом восприятии русской литературы в центре ее оказывается «лишний человек», беспочвенный скиталец, обреченный на равнодушие и раздвоение. В софийном понимании русской литературы основополагающей становится тема обновления и воскресения героя, преображения, устремления к новой жизни (свершившегося или несвершенного). Эта тема, важнейшая в русской поэзии (от А.С. Пушкина до А.А. Блока) и русском романе, наиболее полно раскрывается в романах Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. В «Преступлении и наказании» она связана с диалектикой образа Раскольникова, в романах «Идиот», «Бесы», «Подросток» – с преображением Настасьи Филипповны, Ставрогина, Версилова. В «Братьях Карамазовых» эта тема делает центральным героем романа Дмитрия Карамазова с его жаждой «воскресения и обновления»: «Загорелось сердце и устремилось к какому-то свету, и хочется ему жить и жить, и идти в какой-то путь, к новому зовущему свету» (Там же, с. 457). Митя и в тюрьме ощущает в себе «нового», «воскресшего человека», который «никогда бы не явился, если бы не этот гром» (Там же, т. 15, с. 30). И главное теперь – сохранить этот образ нового человека как преодоление пугающей Достоевского и открытой им карамазовской широты русского человека: «Мы натуры широкие, карамазовские.., способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения… Мы широки, широки,

как вся наша матушка Россия, мы все вместим и со всем уживемся!» [4, т. 15, с. 129]. Духовный переворот, к которому способен карамазовский герой Достоевского, – это пробуждение совести в нем, как «имманентное раскрытие Божественного начала», по слову Бердяева.

Софийная кульминация романа контрастирует и с завершающими его книгами. Всей динамикой своего романа Достоевский вскрывает ненормальность существующих человеческих отношений, ибо в реальной жизни отсутствует «сокровенное ощущение живой связи» мира человеческого «с миром горним и высшим». А это значит, что из жизни уходит любовь. Обнажается «жестокое сердце» современного человека, тяга к мучительству и «живодерности» (Там же, с. 32–33). Для созерцателей «двух бездн» любовь смешана с ненавистью: отношения Катерины Ивановны с Дмитрием и Иваном: «это были какие-то влюбленные друг в друга враги» (Там же, с. 56). Это море ненависти и мучительства обнаруживается на суде. Какая здесь может быть справедливость, если ближний – «изверг», «зверь» (Иван и Катерина Ивановна о Дмитрии), «тварь» (Катерина Ивановна о Грушеньке), «один гад съедает другую гадину», как говорит Иван публике (Там же, с. 117–120). В романах Достоевского обнаруживается то апокалиптическое переживание современной истории, о котором будет размышлять русская религиозная философия Серебряного века. В «подлом уме» современного профанного человека вполне допустима мысль «убил, но не виновен» (Там же, с. 177) – таково мнение сочувствующей Дмитрию публики. Автор судит своих героев судом совести за преступный помысел отцеубийства, который естественно исполняется, ибо энергетика ненависти и беспорядка затопляет мир. Ее реализацией становятся и свершенное отцеубийство, и безумие Ивана, и явление ему «мелкого черта». Этот апокалиптический мир вскоре будет иметь и реальное, и литературное продолжение («Петербург» А. Белого, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова). Софийный пафос преображения ведет писателя к обостренному восприятию истории как апокалипсиса, что сближает Достоевского с Гоголем, а русских писателей в их фантастическом реализме – с образами художников Северного Возрождения (И. Босх, П. Брейгель, А. Дюрер). Ад Босха – гротескное изображение реальной жизни, вывернутой наизнанку, пародия на повседневность. Границы между земной жизнью и адом стираются, возникает не бахтинская освобождающая карнавальность (имеющая свое время и место), а демонический карнавал наоборот, не знающий своего хронотопа, как в творчестве Ф. Достоевского [8] или М. Булгакова.

Софийная тема усиливает катастрофическое восприятие реальности, ведет к апокалиптическому переживанию современности. Христианская онтология Софии неотделима от софии катастроф («роман Достоевского есть роман катастрофический» [7, с. 289]). В то же время именно в романе Ф. Достоевского рождается тот христианский космизм, то софийное мироприятие, которое определит пути поэзии Серебряного века. Поэтическая софиология мгновения в романах Достоевского перерастает в софийное мироощущение, противостоящее их катастрофической реальности. Богоприсутствие вступает в спор с богоотсутствием – такова центральная коллизия русского «религиозного реализма» [2, с. 64] XIX в.

Литература

1. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001.
2. Бердяев Н.А. Русская литература XIX века и ее пророчества // Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
3. Достоевский Ф.М. Бесы // Полное собрание сочинений : в 30 т. Л., 1974. Т. 10.
4. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Там же. Л., 1976.Т. 14–15.
5. Достоевский Ф.М. Идиот // Там же. Л., 1973. Т. 8.
6. Достоевский Ф.М. Подросток // Там же. Л., 1975. Т. 13.
7. Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994.
8. Кантор В.К. Карнавал и бесовщина // Вопр. философии. 1997. № 5.
9. Мочульский К.В. Достоевский: Жизнь и творчество // Гоголь. Соловьев. Достоевский / К.В. Мочульский. М., 1995.
10. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002.
11. Топоров В.Н. Еще раз о древнегреческой Софии // Святость и святые в русской духовной культуре / В.Н. Топоров. М., 1995. Т. 1.

About the sophist world-view in the novels by F.M.Dostoevsky

There is regarded the Christian cosmism and the apocalyptic Christianity of F.M.Dostoevsky, urgent for artistic and philosophic consciousness of the Silver Age, sophist world-view, opposed to the catastrophic reality.

Key words: *sophist world foundation, sophist world-view, Christian cosmism, apocalyptic Christianity.*